



Валёк — золотая рыбка

Мы умирали с дедом в феврале 1957 года: он от тяжёлых фронтовых ран, а я — от никому не известной и не понятной болезни. У деда в госпитале отняли половину лёгких, вторая половина сейчас отекала, и до смерти оставалось совсем немного, однако из-за сильного и мощного сердца он справлялся с удущем и порой даже начинал разговаривать со мной бодрым прерывистым шёпотом. Я лежал пластом, как парализованный, утратил дар речи, не двигался, не испытывал никакой боли, возможно потому, что был ледяной и, по выражению матушки, таял, будто весенняя сосулька. Однако при этом обострённо видел, слышал и чувствовал всё, что вокруг происходит.

Дед привык умирать, а я ещё не знал, что это такое, поэтому мы оба хладнокровно лежали и ждали последнего часа. Хладнокровно в прямом смысле, потому что температура у меня упала до тридцати четырёх градусов. Бабушка днями и ночами стояла на коленях перед иконами в горнице, где был дед, но молилась за меня, и то ли от отчаяния, то ли по незнанию просила боженьку внука оставить, а деда прибрать, причём обращалась к нему без всякого страха, как-то по-свойски, будто бы с соседом договаривалась. Отец всё время тулупа не снимал, куда-то ездил на лошади, искал врачей, но возвращался один и громко матерился; матушка, если не суежилась по хозяйству и не пестовала братьев-двойняшек (сестра уже ходила в школу и жила на квартире в Торбе, за семь километров), то сидела возле постели, грела мои руки и крадучись плакала потом в закутке. Никто не знал, сколько нам оставалось жить, пока отец наконец-то не привёз откуда-то фельдшерицу, большую румяную тётку. Она посмотрела мне в рот, в глаза, перевернула с боку на бок, словно трупик, смирив температуру.

— Недолго осталось, — будто утешила она родителей. — Холодный, с такой температурой не живут.

К деду не прикоснулась, лишь взглянула издалека.

— До вечера не дотянет, — определила ему срок. — Вот-вот отмучается.

И выписала нам обоим справки о смерти. Это чтобышний раз не ехать за сорок пять вёрст по метельной февральской дороге.

В то время мои родители ещё безоглядно верили в медицину, и после такого заключения в доме сразу стало тихо, заговорили шёпотом, но я всё слышал. Матушка готовилась бежать в Торбу за моей сестрой и передать там, чтоб дядя Саша Русинов сообщил родне. Он был образованный, работал начальником лесоучастка, и у него в конторе был единственный телефон.

— Ничего, Серёга, — громко сказал дед, когда отец повёз фельдшерицу в обратный путь. — Весна скоро, река разольётся. Мы с тобой на рыбалку поедem. Поймаем рыбу валёк. Я знаю место, где она клюёт.

Про эту невиданную рыбу он говорил давно, всё собирался выловить её в нашей реке Чети, искал место, где водится, однако так ни разу и не поймал. И никто у нас в округе валька не то что не ловил, а и слыхом о нём не слыхивал. Дед любил рассказывать про эту рыбу, но только когда мы оставались вдвоём в лодке, где-нибудь под крутояром, подальше от чужих ушей, и ещё всегда предупреждал, чтоб я держал язык за зубами. По его словам, валёк отличается от других рыб не размерами, красотой или вкусом, а тем, что по достижении определённого возраста приплывает в реки из океанских глубин один раз в жизни, чтоб наглотаться золотых самородков. Рыба эта точно знает все речки, ручьи и проточные озёра, где есть россыпи, и если поймал, значит, тут и золото ищи. Причём её ничто не задержит — ни пороги, ни высокие водопады, ни мели, только б воды было с вершок, везде пройдёт, перепрыгнет. Заходя в реки через холодные северные моря, в поисках россыпей поднимается до самых Саян и Алтая. Бывает, ловят валька даже в горных ручьях за мно-

гие тысячи километров от моря. А наглотившись золота, спускается эта рыбка вниз и возвращается в океаны, где и живёт до смерти на страшной глубине, никакой сетью не достанешь.

Вот она-то и есть сказочная золотая рыбка!

Если поймать валька и вспороть, можно найти до горсти самородков. Дед объяснял пристрастие этой рыбы к драгоценному металлу не жадностью, как бывает у людей, а жестокой необходимостью: золото выполняло роль балласта, чтоб спускаться на дно океана за каким-то специфическим кормом. Размером она была некрупная, ровно сорок сантиметров, как на подбор, и вес имела небольшой, до двух фунтов, потому без дополнительного груза спуститься глубоко не могла. И если она не поест этого корма, то не может отметать икру, то есть размножаться. Так что, чем больше в желудке золота, тем дольше валёк может оставаться на дне, кормиться и продлять свой род. Однако же иные рыбы от жадности глотали такие крупные самородки, что потом всплыть не могли и погибали от высокого давления.

Мой дед не был наивным фантазёром, никогда не тешился несбыточными надеждами, а скорее относился к реалистам и прагматикам, ибо жизнь прожил суровую, но при этом не утратил природного любопытства. Поймать валька он рассчитывал по чисто практическим соображениям: найденное золото думал сдать государству, а на положенные двадцать пять процентов купить отцу мотоцикл — ни охотой, ни рыбалкой, ни бондарным промыслом заработать на него было невозможно. Дело в том, что однажды ему стало совсем худо, и дядя Саша Русинов повёз его на мотоцикле в больницу. Едва они помчались на этой двухколёсной чудо-технике, как у деда прекратилась одышка, он в буквальном смысле ожил, сидел в заднем седле, смеялся и пел, а когда приехали в больницу, велел поворачивать назад.

Он верил в мотоцикл как в лечебное средство.

Вечером дед не умер, но мне стало ещё хуже. Однако я по-прежнему не чувствовал боли. Оказывается, у меня закрылись глаза и почти исчезло дыхание, чего я не заметил. Чудилось, что на улице весна, разлив, мы с дедом сидим под

яром в долблёнке и ловим рыбу валёк. Хорошо и страшно, потому что вода вокруг вспучивается, крутится глубокими воронками. Я был на рыбалке и одновременно слышал и будто бы видел, что происходит вокруг. К вечеру пришли мои крёстные — дядя Анисим и тётя Поля Рыжовы, наши единственные соседи: деревня была всего на два двора. Они сели возле меня и, кажется, просидели всю ночь.

Месяца за три до болезни я страшно захотел соли и начал есть её горстями. Родители это заметили, сперва даже посмеялись, затем поругали и спрятали солонку — я стал воровать. Сначала из мешка в старой избе, но когда и его убрали, то у коров из яслей, где лежала огромная серая глыба. Брал молоток, пробирался в стайку, откалывал кусочки и сосал, как леденец. До сих пор помню этот потрясающий и притягательный вкус; ничего кроме соли я не ел с такой жадностью и страстью ни в детстве, ни потом. У коровьей глыбы скоро был пойман с поличным, лавочка и тут закрылась, и тогда я стал бегать к крёстной. Тётя Поля втайне от всех насыпала мне маленькую синюю плошку, и это было лучшее угощение. Однако дядя Анисим увидел это дело и настрого запретил давать мне соль.

Я был уверен, что заболел только по этой причине. И чтобы вылечить меня, надо-то было всего — дать горсть соли. Но об этом никто не знал, а если я начинал просить и убеждать, что поможет только соль, никто не верил — мало ли что больной ребёнок говорит...

Тётя Поля сидела возле постели, и мне хотелось попросить у неё хотя бы крупинку, но язык уже давно не шевелился, и голоса не было, а сами они не догадывались, что мне нужно.

Так я дожил до утра, и на восходе солнца, когда буран ненадолго улёгся, к нам и явился этот человек. Сначала я его только слышал — тихий гудящий голос, объясняющий бабушке, что ему не холодно, он ничуть не замёрз и чаю пить не станет. Он был странно одет: белая шёлковая рубаша с пояском и цацками, а сверху большой ямщицкий тулуп нараспашку. И на ногах, в мороз и ветер, красные хромовые сапоги в обтяжку!

Мы жили на границе двух районов, на единственной в наших местах дороге, и то зимней, конной. Проезжий народ заходил к нам погреться, и потому самовар или, на худой случай, чайник были всегда наготове. Обычно путники снимали тулупы, валенки (чтоб скорее согрелись ноги), усаживались к печи, матушка наливала им чаю из шиповника с мёдом и подавала горячие кружки.

Этот путник даже не присел с дороги, хотя был пеший, только шапку снял, тулуп в угол скинул и будто бы сразу определил, что в доме кто-то умирает. Отец ещё не вернулся, и потому бабушка, как большуха, встретила этого странноватого гостя настороженно и поначалу вроде бы скрыть попыталась семейное горе. Однако путник без спроса вошёл в комнату и склонился надо мной. Причём так низко, что я ощутил его лицо над своим и открыл глаза.

Скорее всего, это был старик, по крайней мере, в памяти осталась густая, крепкая, словно из проволоки, и совершенно белая борода с большими усами, длинные, с сильной проседью волосы; правда, мне до сих пор кажется, что он не был старцем и вообще старым человеком. Я не запомнил лица, или его черты потом стёрлись в сознании; остался лишь некий образ — орлиный, пугающий и одновременно завораживающий. Он распрямился и, постукивая палкой об пол, опять без позволения зашёл к деду в горницу, по-хозяйски притворив за собой дверь.

Мать с бабушкой, должно быть, сробели, ничего ему не сказали, зато обрадовались, что я открыл глаза. Стояли возле постели, звали меня по имени, просили сказать что-нибудь, но сами косились на дверь горницы, тревожно переглядывались, а путник всё не появлялся. Представление о времени исказилось, я осознавал лишь день и ночь, и сколько пробыл незнакомец у деда, отметить не мог. Матушка потом говорила, часа три, но мне показалось, он зашёл и тут же вышел. Что он там делал, никто не видел, и заглянуть в горницу не посмели, даже моя смелая и властная бабушка, которая опасалась, как бы этот прохожий чего не украл да не ушёл через окно. Воров и разбойников

в наших краях хватало, потому что в окрестных леспромхозовских посёлках полно было вербованных и сибулонцев — зеков, когда-то отсидевших в Сиблаге и осевших по деревням. И даже при этом она не насмелилась хотя бы подглядеть, что происходит в горнице, и только ворчала:

— Ну что вот, а? Что они там шушукаются, лешаки? Может, они знакомые?.. И Семён не зовёт... Кабы дурного ничего не сделал. Глаза-то у него чёрные, цыганские.

Деда моего звали Семён Тимофеевич...

Когда же гость наконец вышел, то сразу стал командовать.

— Положите их вместе. В одно помещение!

— Да ведь нехорошо будет,— воспротивилась бабушка.— Нельзя робёнку смотреть, как дедушка помирает...

— Он не помрёт,— заявил незнакомец.— А вдвоём им легче бороться будет. Перекладывайте мальчишку в горницу!

Матушка подняла меня вместе с одеялом, перенесла и уложила на бабушкину постель, напротив деда. Я обрадовался, хотел протянуть к нему руку, но не смог. Однако я заметил, что дед повеселел.

— Ладно, потом и поручкаемся,— сказал он.— Когда сила появится.

Незнакомец развязал свою котомку, достал кисет и оттуда не табак извлёк, а горсточку крупных кристаллов.

— Ну-ка, открывай рот! — приказал.— Да только не глотай.

Через секунду у меня был полный рот соли! Я стиснул зубы, чтоб не отняли, поскольку бабушка уже сделала строгое лицо и завела:

— Что ты дал-то ему, лешак?

— Соли дал,— обронил путник, наблюдая за мной.— Захочешь воды — скажешь.

Я не пил уже несколько дней...

— Да разве можно робёнку столько давать? — возмутилась бабушка и двинулась ко мне.

— Можно, если просит. Вы посмотрите кругом, метель второй месяц, солнца нет, как же без соли?

— Да где это видано?..

— Мальчишка просил?

— Просил, дак ладно ли...

— Ладно! А вы не дали! Ох, темнота кромешная... Ребёнок знает, что хочет. И лучше вас!

— А ты кто будешь-то? Лекарь, что ли?...

— Я и лекарь, и пекарь! — огрызнулся путник. — Болезнь запустили, оголодал ребёнок, теперь одной солью не обойдётся. Тело лечить надо! У него жила иссохла.

Тем временем я рассосал всю соль, дотянулся до рта и показал, что хочу пить.

— Чего маячишь-то? — ворчливо спросил путник. — Чего надо? Если воды хочешь, так и скажи.

— Пить хочу! — неожиданно для себя выдавил я.

— Ну вот! А я уж думал, ты язык проглотил! — забалагурил он. — Ну-ка, дайте парню воды!

Матушка стала поить меня из ложки, а бабушка увидела, что я зашевелился и заговорил. Теперь она наконец-то подобрела к путнику и сдалась.

— А как тело-то лечить?

— Как лечить... Побегать придётся.

— Дак побегаем, коль надо.

— Ну-ка, покажите мне скотину! — вдруг велел путник.

Бабушка накинула полушубок и безропотно повела его во двор. Обычно привередливая и строптивая, она теперь была готова на всё и даже не спрашивала, зачем незнакомцу потребовалась наша скотина (её особенно чужим не показывали, колдунов боялись, которые могли изрочить корову — молоко присохнет, или не растелится).

Они скоро вернулись, гость был озадачен.

— Не годится. Нужен красный бык.

— Да где же его взять? — охала бабушка. — Я красных и не видала сроду...

— Не знаю, думайте, вспоминайте, ищите. Чтob обязательно красный, без единого пятнышка. Иначе парню не встать на ноги, так и останется лежнем.

Я слышал, как мать с бабушкой начали вспоминать, у кого по деревням какой масти скотина, и всё получалось,

только красно-пёстрая. А путник твердил про красного быка и заставлял думать. Наконец, матушка вспомнила, что в Чарочке у Голохвастовых красная корова и вроде бы без пятен. И вдруг у них есть прошлогодний бычок?

— Хозяина нет, кто поедет? — загоревала бабушка. — А до Чарочки двадцать вёрст...

— А ты сходи и приведи! — приказал путник. — Хочешь, чтоб внук поднялся — иди.

Та было засобиралась, однако передумала и послала матушку — должно быть, всё-таки опасалась оставить на неё избу и больных. Мать оделась, заглянула в горницу, погладила меня по волосам.

— Я скоро, Серёнька, потерпи...

Тем временем бабушка, крадучись от чужака в доме, достала из сундука старый медный чайник, в котором хранились деньги (копили на мотоцикл), вынула всё, что там было, даже мелочь, отдала матери, заплакала, зашептала:

— Ой, боюсь я его, вон как зыркает. Не знаю, к добру ли, к худу принесло лешего. Да ведь что нам робить-то? Ой-ей-ей... Ну, иди с богом, уж как-нибудь...

Матушка поцеловала меня и пошла.

— И гляди, комолого не бери! — вслед ей сказал путник. — Обязательно, чтоб с рогами был.

— Господи, боже мой! — только и ахнула бабушка. — Ещё и с рогами надо...

И мать ушла за красным быком. Она так любила нас, что сказали бы ей привести зелёного, она бы нашла и привела. А путник зашёл в горницу с поленом, бросил его вместо подушки, лёг на пол и захрапел. Бабушка не утерпела, на цыпочках к дедовой постели подкралась, разбудила и что-то долго шептала, косясь на незнакомца.

— Иди, ступай, — отчётливо сказал дед. — И не чеши языком. Чего разбудила-то? Сон хороший видал, Карна приходила.

Тогда я ещё не знал, кто это — Карна, однако бабушке это имя было известно, поскольку она тут же надулась и сердито зашвыркала носом.

— Ладно, будет,— проворчал дед.— Быка-то нашли?

— Валю в Чарочку послала,— призналась бабушка.— Все деньги ей отдала...

— Зачем все-то?

— А ежели он разбойник какой? Трофима нет, перебьёт нас, да и поминай как звали. Ты глянь-ко, ведь истинно лешак, а зыркнет, так страх берёт. Ведь что сказал? Чужих в избу не запускайте, мол, чтоб меня тут никто не видал. И никому словечка не скажите про меня!.. Это на что ему, чтоб не видали, не слыхали? Ох, худое замыслил, лешак...

— Он не разбойник,— рассудил дед.— И не лешак.

— Ну, бродяга или сибулонец...

— И не бродяга. Он человек другой породы. Слушайся его и не перечь.

Бабушке и это не понравилось, но из-за своего характера согласиться и промолчать не могла.

— У ихнего брата одна порода: ходят да смотрят, что плохо лежит,— умышленно громко заворчала она и ушла, но путник не проснулся.

Отец увёз фельдшерицу и приехал немного выпивший, ввалился в горницу прямо в тулупе, схватил мои ладони своими горячими руками.

— Живой, бродяга...

И лишь потом увидел незнакомца.

Отец был человеком вспыльчивым и даже отчаянным, если его раскачать. Сам драк не затевал, но если за живое задела, тогда держись, биться будет насмерть. Возможно, потому отца считали смелым и дерзким человеком, хотя на самом деле сам он так о себе не думал, и я не раз был свидетелем, как он проявлял чудеса смирения, чтоб не ходить врукопашную.

Тут он вдруг сробел, растерялся, к путнику даже не подошёл, ничего не спросил (почему это чужой человек в горнице спит?), только посмотрел на него внимательно и чуть ли не убежал. Я слышал, как они шептались с бабушкой, но одновременно ревели оголодавшие братья-двойняшки, так что я ничего не разобрал. Потом выяснилось, что отец

распряг измученного коня, завёл в стойло, а сам встал на лыжи и ушёл в Яранское, искать красного быка, потому что только там имелась скотина подобной масти. И будто в прошлом году он сам видел годовалого быка у Пивоваровых и ещё удивился, какой он красный и яркий.

Отец всего лишь четыре года ходил в школу и даже в армии не служил из-за сожжённой в детстве, изувеченной левой руки, однако при всей кажущейся темноте всю жизнь тянулся к знаниям, много читал и искренне верил в науку. Хорошо помню, как уже осенью того же года, после запуска в космос первого искусственного спутника, он несколько ночей не спал, бегая под звёздным небом, и всем спать не давал, кричал, прыгал, хохотал, а потом играл на гармошке и раззадоривал матушку — говорил, что отмечает праздник человечества, но бабушка вздыхала: мол, в отца бес вселился. Ко всякой ворожбе и колдовству он относился с усмешкой, людей, которые верят во всё это, считал дураками. И потому оставалось загадкой, что с ним случилось, когда в тот день он вдруг бросился искать красного быка.

Матушка вернулась через сутки, ночью, с пустыми руками; оказывается, успела обойти несколько деревень, добралась чуть ли не до райцентра, пересмотрела полсотни быков, своих и колхозных, однако такого, как требовал путник, нигде не было. Ей советовали сходить в Чёрный Яр, в другой район, где якобы видели совершенно красного телёнка, только неизвестно, быка или тёлку. И вот теперь матушка примчалась, чтоб глянуть, что дома творится, перевести дух и бежать дальше.

Путник всё это время проспал на полене и наконец-то проснулся, встал сердитым, от еды отказался, только ковш воды из кадки выпил и начал ругаться на матушку, дескать, тёмные вы и полоротые люди, даже красного быка не можете найти. И сказал потом, постукивая пальцем по столу:

— Если к утру не приведёте мне быка, я пойду и найду сам. Но тогда вашего мальчишку заберу и уведу с собой.

Женщины перепугались, бабушка немедленно запрягла отдохнувшего коня и поехала, как в сказке, — куда глаза гля-

дят. Матушка, видимо, решила задобрить гостя, на стол собрала, выставила бутылку водки, но тот пить-есть решительно отказался, дверь в горницу прикрыл, чтоб мы с дедом ничего не слышали, и начал с матерью какой-то разговор. Бубнили они долго, чуть ли не до утра, пока не возвратился отец.

— В нашем районе красных быков нету! — заключил он и пошёл смотреть, жив ли я.

Куда ездила бабушка, неизвестно, однако к восходу поспела, и когда её увидели в окно, дома сразу же возник радостный переполох: за санями шёл бык, привязанный к пряслу.

— Ведёт! Ведёт быка!

Отец с матушкой выбежали на улицу, а гость, говорят, даже в окно не посмотрел, только покряхтел и начал собираться.

— Ладно, полоротые, сидите и ждите. Сам пойду! — сказал он, когда все вернулись в избу.

— Дак чем этот-то не подходит? — возмутилась и перепугалась бабушка. — Ведь ни пятнышка на нём, с рожищами такими и весь красный! Я же за него, лешака, столь денег отдала!

— А на лбу у него что?

— Дак звёздочка на лбу! И то махонькая!

— То-то и оно! — Путник зашёл в горницу и сунул мне в рот всего один кристалл соли. — Это значит, бычок родился ночью. А надо, чтобы на заре!

Хлопнула дверь, и в избе наступила полная тишина.

Должно быть, родители сели за стол, советоваться. Они всегда так делали, если требовалось обсудить что-либо важное, однако дед проснулся, откашлялся и кликнул бабушку.

— Вы там особенно не суетитесь, — сказал спокойно, без одышки. — Не найти нам быка. Пускай он приведёт.

— Он-то, лешак, приведёт! — сразу завелась бабушка. — Да ведь Серёжку заберёт за этого быка! Сказал: ежели сам найду, мальчишку с собой уведу!

— Так и так его уведут. Пускай уж он возьмёт.

— Как — уведут!?

— Ну, вырастет, найдётся ему девка какая и уведёт! — засмеялся дед и ко мне повернулся. — Ты-то как хочешь? Жениться или по свету походить?

— Сам всю жизнь бродяжил! — закипятилась она. — Сколь ты дома-то прожил, лешак? То война, то промысел, то и сказать грех — бабёнки гулящие. И не лежи сейчас, дак убежал бы опять куда!

— Да будет тебе! — добродушно отмахнулся дед. — Раз парню судьба такая выходит, ничего не сделаешь...

Бабушка видела, что мы оживаем, и уже ничем жертвовать не хотела.

— Ты что же, внука ему отдашь? Чего он такого сделал, чтоб робёнка забирать? Да где это видано?! Вы, должно, сговорились с ним!

Дед завернул таким матом, что бабушка сердито засопела и умолкла — вот это была игра слов! Однако ненадолго, скоро опять подседа к деду, спросила примиряюще:

— И на что ему бык-от? Вот заладил, ищи ему быка, да и всё. Как это он лечить собирается?

— Не наше дело, не лезь, — спокойно посоветовал дед — тоже не хотел ссориться. — Ничего мы не понимаем в этом деле, и понимать нам не надо. Вылечит, и ладно.

— А вы про что с ним три часа кряду разговаривали? — подозрительно спросила бабушка. — Ты его знаешь, что ли?

— Его не знаю, а людей из их племени встречал.

— Это что за племя такое?

— Ну, есть такое племя, на нас не похожее. Гои называются.

— Дак чего, нерусский он, что ли?

— Почему нерусский-то? Русские они...

— Что-то я не слыхала про этакое племя...

— Да ты много чего не слыхала и не видала...

— И где они живут?

— Кто их знает? Везде живут, ходят, ездят...

— Значит, цыгане! — определила она. — Я так и думала! То-то гляжу, зыркает!

— Не цыгане они! — Дед что-то скрывал и потому терпел, ещё не ругался, но был уже на пределе. — Порода такая — гой. Хорошие люди, совестливые, дурного не делают, живут по справедливости. И больше ничего не знаю.

— Знаешь, да сказать не хочешь! — не унималась бабушка. — А то бы три часа сидели шушукались... Тебя от тифа в гражданскую кто вылечил? Тоже эти гой? Уж не от неё ли лешак этот явился? От старухи-то, с которой ты робёнка прижил?

Дед даже материться не стал, махнул рукой, отвернулся к стенке и замолчал, а бабушка закусил губу, взяла красного быка со звёздочкой в повод и повела назад, откуда взяла.

Тогда я ещё не знал, что приключилось с дедом в гражданскую войну, об этом в семье никогда не говорили, и не понимал бабушкиной подозрительности и пытливости, однако с той поры запомнил это слово — гой, и когда сказки читал, где Баба-Яга спрашивала, мол, гой еси, добрый молодец, то сразу вспоминал этого путника и всё понимал. Но однажды на уроке, кажется, во втором классе, кто-то спросил, что это значит, и учительница неожиданно заявила, дескать, это просто игра ничего не означающих слов. Согласиться с таким суждением я не мог, поскольку Гоя видел живьём, а «еси» встречалось в молитве, которую слышал каждый день и знал назубок: «Отче наш! Иже еси на Небеси...». Чтoб было понятнее, бабушка переводила её для меня, и это звучало так: «Отец наш! Ты есть на Небе». Потому Баба-Яга не играла в слова, а конкретно спрашивала — гой есть, добрый молодец, или нет?

Все эти свои знания я и вывалил учительнице. Реакция оказалась непредсказуемой: батю вызвали в школу и стали ругать, что у нас в семье мракобесие и религиозная пропаганда. В общем, он вернулся домой и с помощью ремня объяснил мне, чтoб научился держать язык за зубами и в школе не разбалтывал, чему учат и что говорят в семье.

Но это уже было потом, а сейчас бабушка свела негодного быка, вернулась ещё более сердитая и заявила решительно:

— Хоть какие они, эти твои цыгане совестливые, а внука своего не отдам! И не надо нам ихнего быка и лекарства!

— Я говорил, не цыган он, а гой, — терпеливо напомнил дед.

— Всё одно, ко двору близко не подпущу! Пускай идёт со своим быком...

— Лучше пусть внук помрёт, что ли? — взвинтился он. — Или лежнем на всю жизнь останется? Раз обычай у них такой — на ноги поднимет и пусть забирает. Худого не будет, а может, внук через него в люди выйдет, мир посмотрит.

— Вот, опять своё начал, — забранилась бабушка. — Вечно путаешься с кем попало, всяких цыган в избу пускаешь. А ведь старик уже, три войны прошёл...

На сей раз дед запышكال, словно рассерженный медведь, и подтянул к себе еловый батожок.

Нелюбовь к цыганам у нас в семье началась с того, что они меня чуть не украли, когда мне было около года отроду. Я не помню этого случая и знаю по рассказам, что к нам в деревню на ночёвку заехали цыгане. Это был какой-то не покорившийся власти табор — им после войны запретили кочевать, а они будто уходили в дали несусветные — аж в Сербию. Цыгане встали за поскотиной и развели костры, но попросили, чтоб детей с одной старой цыганкой пустили переночевать в избу — дело было зимой. Бабушка как чувствовала неладное и пускать не хотела, мол, вшей натащут и украдут что-нибудь, однако дед на правах главы семьи разрешил. Около десятка цыганят поместилось на печи и полатах, двух грудничков положили на топчан за печкой, а сама цыганка пристроилась на полу. Бабушкино сердце не выдержало, раздобрилось. Сначала она подала детям миску с мёдом (была своя пасека, и добра этого хоть залейся), затем предложила чаю цыганке, наконец, разговорилась, начались гадания по картам, по чёрной книге и по руке, и в результате все узнали свою судьбу, в том числе и мою. Цыганка сулила мне жизни семьдесят шесть лет и смерть от воды — она всем щедро раздавала сроки жизни, богатство и счастье, даже корове, которая должна была принести скоро двух телят, и отцовой Карьке, казённой сельповской кобыле, много лет не жеребившейся.